

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИОГРАФИИ

Л.Н. СТОЛОВИЧ

«НЕ ТОЛЬКО Я ОКУНУЛСЯ В СОЦИОЛОГИЮ, НО И СОЦИОЛОГИЯ ОКУНУЛАСЬ В МЕНЯ»

Леонид, у меня такое ощущение, что Вы после окончания школы поступали на философский факультет не с целью изменения социума, но с целью открытия какой-то гармонии мира... то есть как человек, рано увлекшийся поэзией. Так ли это?

Я, действительно, поступил на философский факультет как человек, рано увлекшийся поэзией. Но не с целью изменения социума или открытия какой-то гармонии мира. Получилось так, что сама поэзия, которая меня захватила с ранней юности, была, прежде всего, поэзией философской.

Каким образом у юноши, оканчивающего школу, могла быть философская поэзия? Расскажите об этом поподробнее.

Стихи я начал писать лет с 10, если не раньше. Они были детски-наивными, забавно-смешными. Я писал о рыцарях и пиратах, о временах года и животных, а также о «героях нашего времени», и не только нашего, — о Галилее и Чкалове, Пушкине и Сталине.

После выступления на какой-то школьной олимпиаде меня направили в литературную студию Ленинградского дворца пионеров, который помещался в бывшем Аничковом дворце на углу Невского и Фонтанки, куда и пройти можно было только по специальному пропуску. В студии меня прикрепили к литературному консультанту Глебу Сергеевичу Семенову. Он сам был прекрасным поэтом и в послевоенное время стал пестователем многих ленинградских поэтов (среди них были и Александр Городницкий, и Александр Кушнер, и Нонна Слепакова), как потом говорили, — «гвардейцев Глеб-Семеновского полка». Глеб Сергеевич без тени юмора отнесся к моим

Столович Леонид Наумович — доктор философских наук, профессор, почетный профессор (Professor Emeritus) Тартуского университета (Эстония). **Адрес:** Estonia, 50707 TARTU, Mõisavahe 22 – 7.
Телефон: + 372 748–85–45. **Электронная почта:** stol@ut.ee

виршам, находил даже в них удачные строчки и учил классическому стиху. 31 мая 1941 года, за три недели до начала войны, на первой странице пионерской газеты «Ленинские искры», было напечатано стихотворение «Я сдал!» о первом в жизни сданном экзамене в 4-м классе, подписанное: Леня Столович, 227 школа.

*Да, Вы очень рано стали осознавать себя публикуемым автором.
Но здесь пришла война...*

В самом конце августа 1941 г. я с родителями ехал в эшелоне, который должен был доставить в Казань оборудование и работников военного завода, где работал мой отец. Но доехали мы только до станции Мга. Больше поезда по этой дороге не ходили: на наших глазах замкнулась блокада города. Наш эшелон уцелел во время бомбардировки, и его смогли возвратить в Ленинград. В Ленинграде я с родителями находился в самые тяжелые месяцы блокады.

Школа больше не работала. Я был предоставлен сам себе, и основным моим занятием стало писание стихов. Точнее сказать, я их не писал, а записывал. Все время я сочинял про себя, где бы ни находился. И это меня спасало, хоть на время снижало чувство голода и умирало чувство страха. Я, двенадцатилетний мальчик, чувствовал себя причастным к историческим событиям, в которые оказался невольно вовлеченным. Сами стихи были очень слабыми и, если и имели какую-либо ценность, то только документальную. Нашу семью спас счастливый случай. В феврале 42-го, когда умирала моя бабушка и в коммунальной квартире уже месяц лежали два мертвых тела соседей, к нам неожиданно с мешком картошки пришел дядя Жора — Георгий Михайлович Алиев, друг нашей семьи. Он был начальником военно-полевого госпиталя, стоявшего на другой стороне Ладожского озера, по ту сторону блокады, и обслуживавшего единственный путь в Ленинград через это озеро, «Дорогу жизни», как ее по праву называли. Меня вскоре увезли на грузовике по льду Ладожского озера во фронтальной госпиталь. Так я стал «сыном полка», а мои родители смогли выжить, имея дополнительную детскую карточку.

20 мая 1942 г. армейская газета «Фронтальной дорожник» напечатала заметку «Самодеятельный концерт», в которой отмечалось: «На днях в клубе Н-ской части состоялся показ художественной самодеятельности бойцов части, где комиссаром тов. Шейнин. В концерте приняли участие бойцы, командиры и медработники подразделений. Большое впечатление на слушателей произвел отрывок из поэмы “Ростов”, прочитанный автором, воспитанником одного из подразделений, 15-летним Леной Столович...». В этой заметке мне было прибавлено 3 года, так как, видимо, писавший ее младший политрук не мог представить, что 12-летний мальчик пишет поэмы. Стихи были искренние и весьма несовершенные, хотя с четким ритмом и

нормальными рифмами. «Большое впечатление на слушателей», о котором писалось в красноармейской газете, произвел, конечно, возраст автора.

Завод, на котором работал мой отец, все же эвакуировали, но теперь уже через Ладожское озеро. Затем и я присоединился к родителям и с осени 1942 г. два года жил в Казани. Чтение художественной литературы и писание стихов занимало всё мое время, оставшееся после учебы в школе. С мая 1943 г. я стал ходить на литературные вечера, организуемые по субботам русской секцией Союза писателей Татарии, которые проходили в помещении Казанского музея А.М. Горького.

Подлинным подарком судьбы было мое знакомство с Еленой Николаевной Верейской — детской писательницей. Первый ее муж — один из лучших русских графиков Георгий Семенович Верейский. Их сын — Орест Верейский, замечательный художник-график, друг А.Т. Твардовского и лучший иллюстратор «Василия Теркина». Елена Николаевна — дочь одного из крупнейших историков и социологов России Николая Ивановича Кареева, и она мне много о нем рассказывала.

Благодаря общению с литераторами я многое узнавал из того, что было если не под прямым запретом, то, во всяком случае, малоизвестно. Я во многом обязан моим литературным развитием Дмитрию Евгеньевичу Максиму. Он был выдающимся знатоком творчества Александра Блока, я впервые узнал Блоке и о запрещенном в то время Николае Заболоцком. Еще в Казани он мне читал стихи Анны Ахматовой, с которой был лично хорошо знаком, в том числе «Поэму без героя», полученную им в письме из Ташкента от самой Анны Андреевны.

Но определяющую роль в развитии моего еще отроческого стихотворного творчества сыграл безвестный человек, которого некоторые люди считали городским сумасшедшим, по имени Валентин. Валентин работал электромонтером в казанской школе, где я учился в 1942–1943 гг. Ему было 23–24 года. Как потом я узнал, он был потомком высланных в Казань за какие-то прегрешения поляков. Фамилия его была Сымонович. Отчество — Людвигович. В армию его не брали, так как он был явно слабого здоровья.

Знакомство с Валентином значительно расширило круг моего чтения. Любимым моим, как и его, поэтом стал Данте. Я узнал о существовании Гомера, Вергилия, Горация, Мильтона и старался читать их творения. От него я узнал о Платоне, Гегеле, Канте. Благодаря ему я уже никогда не считал слово «идеализм» бранным словом. Валентин определил направленность моего самообразования. Собранная им библиотека стала для меня образцом создания собственной библиотеки.

Валентин принадлежал к еще неведомому мною миру людей, никак не связанных с существующей властью. Он мне рассказывал об оборотной стороне жизни, о которой я ничего не знал: о трудностях, сопряженных не только с войной, о высылках и арестах, о предвоенном голоде. В своем дневнике 23 октября 1943 г. я записал совет Валентина, чтобы «я держался подальше от официальнойщины, от нее, кроме разочарований, ждать нечего». Валентин был в высшей степени бескорыстным и благородным человеком, обуреваемым возвышенными идеями, как бы к ним не относиться. И я благодарю судьбу за встречу в юности с таким человеком. Я писал о Валентине Сымоновиче в своей книге «Стихи и жизнь. Опыт поэтической автобиографии» [7]. Это привлекло внимание Игоря Семеновича Кона, и он в книге «Мальчик — отец мужчины» (2009) привел влияние на меня Валентина как своеобразный пример наставничества.

С этого времени и после возвращения в Ленинград в 1944 г. я стал писать еще школьником, до поступления в университет, стихотворения с несомненной философской направленностью: сонет «Часы», сонет «К Данте», посвященный Валентину, «Завещание Екклесиаста», «Фейерверк», «Оттепель», «Прогулка», «К войне», стихотворение «Осень», посвященное Глебу Семенову [7]. Философский смысл этих стихотворений имел не только книжные источники. Сонет «Часы» заканчивался строками:

А стрелка медленно ползет по циферблату
И чьей-то жизни завершает круг.

Наверно, четырнадцатилетний мальчик не мог бы так завершить стихотворение, если бы он не видел в блокаду не однажды, чем завершается человеческая жизнь. Абстрактно-философская формула, по-видимому, снимала психическое напряжение, вызываемое конкретными воспоминаниями. Пережитое в Ленинградской блокаде и вообще все, что было связано с войной, досрочно «взрослило» мои стихи и придавало им серьезное не по годам смысловое звучание, озадачивавшее впоследствии моих литературных наставников.

Я пошел на философский факультет потому, что считал необходимым для поэта быть философски образованным. Когда мне советовали поступить на филологический факультет, я самоуверенно-невежественно заявлял: «Да там изучают то, что я читаю отдыхая!»

С творчеством каких поэтов Вы были знакомы? Ведь даже Есенин был запрещенным, не говоря о Мандельштаме, Цветаевой, Гумилеве...

У нас дома был томик Маяковского в дешевом издании 1930-х годов. Я его, конечно, читал с интересом, но без особого удовольствия: моим поэтическим идеалом был Пушкин и позже Лермонтов. О

Есенине я слышал от нашего спасителя — дяди Жоры. Георгий Михайлович Алиев был человеком, близким мне еще и потому, что он сам писал стихи и искренне поощрял мое литературное творчество. От него я слышал о Есенине. В 1946 г. он мне подарил только что вышедший сборник Есенина. Об Ахматовой я знал, как я уже сказал, еще будучи в Казани. Ее первые сборники «Чётки» и «Белая стая», как и редкие издания Андрея Белого, были в библиотеке мужа маминной сестры, и он их мне подарил. Так что всё, что говорил об Ахматовой Жданов, вызывало у меня неприязнь. После возвращения в Ленинград в 1944 г. я посещал кружок литературоведа, крупного специалиста по творчеству Лермонтова Виктора Андрониковича Мануйлова. Это литературное объединение работало при ленинградском Доме учителя. Мануйлов был учеником Вячеслава Иванова и встречался с В. Брюсовым и С. Есениным, А. Ахматовой и М. Волошиным, В. Маяковским и Н. Клюевым, Н. Тихоновым и В. Рождественским, П. Щеголевым и Б. Эйхенбаумом, Б. Томашевским и С. Бонди, Ю. Тыняновым и Г. Гуковским. Он приглашал почти на каждое заседание кружка почтенного или еще только вступающего в литературу писателя, поэта. К нам приходили Ольга Форш, Всеволод Рождественский и молодые еще Михаил Дудин, Сергей Орлов и другие. Они читали нам свои рассказы и стихи, делились воспоминаниями. Там я вновь встретился с Глебом Сергеевичем Семеновым и перешел в его литературную студию при Ленинградском дворце пионеров. Тогда я узнал о Мандельштаме и Ходасевиче. В поразительно богатых в те времена букинистических магазинах можно было купить и Блока, и Мандельштама, и Гумилева, и Кузьмина, и многих других запретных поэтов, чем я и пополнял свою библиотечку. Цветаеву я узнал позже. Стихотворно осмысляя свою жизнь, я писал в 1988 году:

Конечно же, в жизни мне повезло.
Снаряды и бомбы надо мной пронесло.
Я выжил в блокадный сорок второй,
Когда умирал каждый второй.
В шестнадцать я знал, кто такой Мандельштам,
Что Анна Ахматова — не стыд и не срам.

В каком году Вы поступили в ЛГУ, кто из ставших заметными в философии, эстетике, социологии, социальной психологии учился одновременно с Вами?

Я поступил на философский факультет ЛГУ в 1947 г. Факультет тогда состоял из трех отделений: собственно философии, психологии и логики. Со мной на одном курсе философского отделения учились Владимир Александрович Ядов, имя которого не требует комментария в социологическом журнале, Юрий Андреевич Красин — доктор философских наук, профессор, последний ректор Института общественных

наук при ЦК КПСС, сотрудник Горбачев-Фонда, с 1993 г. руководитель Центра социально-политических исследований Института социологии РАН, Юрий Алексеевич Асеев — историк социологии, соавтор И.С. Кона, человек трагической судьбы. Не могу не упомянуть Игоря Васильевича Николаева — моего сокурсника, преподавателя философии ленинградского Педагогического института им. Герцена, который в 1967 г. был арестован и затем помещен в психиатрическую больницу на принудительное лечение за открытое письмо «Десять вопросов к XXIV съезду» и чтение студентам письма Ф. Раскольникова. Он автор нескольких брошюр на политические темы. На психологическом отделении моим однокурсником был известный специалист по проблемам этики Владимир Георгиевич Иванов, многие годы заведовавший кафедрой этики и эстетики ЛГУ. На отделении логики параллельно со мной оканчивала философский факультет Вера Васильевна Водзинская. На курс старше меня учился Рой Александрович Медведев, знаменитый историк, видный участник диссидентского движения марксистской ориентации (я его называл «нелегальным марксистом»), с которым я дружу со студенческих времен. Еще на курс старше училась социолог Розалина Владимировна Рывкина (Инна Бунимович). Моложе меня на курс учился Андрей Здравомыслов, имя которого осталось в социологии, одесский социолог Ирина Марковна Попова.

Меня интересует тема духовной жизни студентов в то время: что читали? что обсуждали? как проводили время? Отчасти это обозначено в книге Фирсова по разномуслию, в мемуарах Кона, в интервью с Барановым и Здравомысловым... и все же, что Вы по этому поводу скажете?

Философский факультет Ленинградского университета моих ожиданий не оправдал. Вскоре я понял, что он не зря носил имя Жданова, который, не ограничившись поношением Зощенко и Ахматовой, в 1947 г. взялся за философию. На философском факультете начались погромы. Оригинально мыслящий, честный и порядочный М.В. Серебряков должен был покинуть пост декана. Один за другим изгонялись лучшие преподаватели — то за какие-то неведомые прегрешения, то просто за то, что родились «космополитами», как Евгения Львовна Зельманова. Новый декан — некто Михайлин, бывший секретарь какого-то провинциального обкома, был личностью психопатологической.

Вот показательный для него и всей обстановки на факультете эпизод. Выпускалась стенгазета, ее редактором был фронтовик-политработник, ставший майором в 22 года, Валерий Почепко, карьеру которого сдерживал еще предвоенный арест отца — «врага народа». Я был заместителем редактора и потому могу свидетельствовать

как очевидец. В конце 1949 года к 70-летию Сталина мы должны были выпустить специальный номер. Никто не решался нарисовать образ великого вождя, и мы вырезали его портрет из одного из многочисленных плакатов. В должный срок газета висела на стене. И вот рано утром декан Михайлин вызывает Валерия к себе в кабинет и внушительным голосом заявляет:

- Вы допустили грубую политическую ошибку!
- Какую? — упавшим голосом спрашивает бывший политрук, которому опыта в политической деятельности не занимать.
- Какой сейчас месяц? — убийственно спокойным голосом коварно спрашивает декан.
- Разумеется, декабрь, — ничего еще не понимая, отвечает Почепко.
- Вот именно! А у вас товарищ Сталин в летней форме!

При Михайлине было запрещено читать лекции по физике студентам философского факультета одному из лучших наших преподавателей, профессору Григорию Самуиловичу Кватеру, за то, что он однажды сказал на лекции, что закон всемирного тяготения действует в Москве так же, как в Лондоне.

И такой декан еще года два командовал факультетом, читая совершенно безграмотный и анекдотический курс по истории русской философии. В 1951 г. его всё-таки убрали с факультета и назначили... директором Ленинградского филиала музея Ленина. Он теперь имел в распоряжении Мраморный дворец, ездил на ЗИСе. Рассказывали, что он заявил художнику, написавшему по заказу музея портрет Ленина: «Этот портрет написан с троцкистских позиций!»

О том, какими способами укреплялся на факультете философский авторитет Сталина, могут свидетельствовать два типичных факта. Ленинградский философ Владимир Иосифович Свидерский, крупнейший специалист по философским проблемам времени и пространства в СССР, во время лекции в университете марксизма-ленинизма в конце 1940-х годов получил вопрос: «Что нового внес товарищ Сталин в учение о времени и пространстве?» Лектор в духе идеологии того времени стал говорить о громадном вкладе товарища Сталина в развитие философии, но при этом заметил, что специально он не разрабатывал вопрос о времени и пространстве. Этого было достаточно, чтобы В.И. Свидерского отстранили от работы на философском факультете.

И второй случай, непосредственным свидетелем которого был автор этих строк. Во время семинарского занятия по диалектическому материализму на философском факультете Ленинградского университета в начале 1950 г., которое проводил парторг факультета Денисов, два студента выразили непонимание некоторых положений ранней

работы Сталина «Анархизм или социализм?». К их «непониманию» добавился донос о том, что они сокрушались по поводу расходов на празднование юбилея Сталина. В наказание за все это они получили тюремное заключение на 5 лет.

Смрадной была и общественная жизнь факультета. Одно за другим проходили комсомольские собрания, на которых разоблачали студентов, скрывших при поступлении в университет, что у них были репрессированы родители или отец попал в немецкий плен. Провинившихся изгоняли из комсомола (а значит и с «партийного» философского факультета), или, в лучшем случае, наступал конец их общественной карьеры, как бы они потом не отличались на молодежных стройках или в пропагандистско-агитационной работе.

Обстановка была очень похожа на ту, которую описывал Юрий Трифонов в повести «Дом на набережной». Но в отличие от ленинградских филологов, которые тоже в эти годы лишились своих лучших преподавателей, но между собой сохраняли в определенной мере дружеские отношения, на философском факультете студенты были атомизированы духом царившего карьеризма. Только единицы серьезно интересовались собственно философией. На отделении психологии обстановка была несколько лучшей. Там работал выдающийся психолог Борис Герасимович Ананьев и не без его влияния сохранялось еще стремление проявить себя не только общественно-комсомольской деятельностью.

Атмосфера отчуждения пронизывала отношения между студентами. Откровенность была наказуемой. Недоверие к ближнему стало нормой. Два наиболее близких мне сокурсника написали на меня донос о том, что я скрываю свою национальность. В моем паспорте в знаменитой 5-й графе было написано «русский». Я так определил свою национальную принадлежность, получая паспорт в 1945 г., не скрывая, что оба моих родителя евреи. Мною двигала убежденность, что нация, по ленинско-сталинскому учению, не биологическое понятие, а социально-культурное (потомок в четвертом поколении кантониста, которому разрешили жить в Петербурге, я был вне еврейской культуры и языка, и очень мне хотелось быть русским поэтом). Но в 1952 г., когда я оканчивал университет и имел отличную успеваемость, надо было лишить меня права претендовать на аспирантуру и, как потом выяснилось, на работу по специальности вообще. И мои единственные друзья на факультете решили в этом отношении помочь администрации. Я не называю их фамилии, поскольку они раскаялись в своем поступке и уже умерли.

Стихи писать я перестал. Перестал и надеяться на то, что смогу это сделать в будущем. Погружение уже на первом курсе в «Метафизику» Аристотеля и в «Манифест Коммунистической партии» не содействовали поэтическому мировосприятию. А я углубился в

историю философии со всей юношеской серьезностью. Может быть еще и потому, что следовал формуле, придуманной позднее:

Ухожу в эпоху Ренессанса.
Нету у меня другого шанса.

От учебы в Ленинградском университете у меня остались мало-приятные воспоминания. Возможно, они субъективны. Студенты, которые жили в общежитиях, были, конечно, более связаны между собой. Я не ходил на студенческие вечера, не участвовал в самодеятельности, не поехал в Москву на какую-то праздничную демонстрацию с группой сокурсников, чтобы увидеть Сталина. Моей основной общественной работой было участие в студенческом научном обществе (СНО). Одно время был даже зампреда СНО факультета.

Лишенный достойных преподавателей, я, как и некоторые мои сокурсники, много самостоятельно работал, изучал первоисточники и значительную часть «свободного времени» проводил в библиотеках.

Мои интервью позволяют значительно расширить перечень тех, кто учился с Вами в одно время. Но и названных Вами достаточно, чтобы спросить: почему, несмотря на слабый уровень преподавания и атмосферу страха, философский факультет смог за короткий промежуток времени подготовить значительное число ученых, много сделавших для развития социальной философии, социологии и смежных наук?

Действительно, в результате чисток философский факультет Ленинградского университета потерял лучших своих преподавателей. Правда, некоторые из них вернулись на факультет в период «оттепели». С 1960-х гг. стал читать свои блестящие лекции по эстетике и по культурологии, а также руководить аспирантами один из выдающихся мыслителей — Моисей Самойлович Каган, которого очень высоко ценили и И.С. Кон, и В.А. Ядов. К преподавательской деятельности подключились и некоторые мои сокурсники, хотя не все они украсили факультет. Так что будущим видным социологам в конце 1950–1960-х годов было у кого учиться. Но это не снимает Ваш вопрос. Такие выдающиеся социологи, как Ядов, Рывкина, Здравомыслов, Рой Медведев (я его причисляю к социологам потому, что свою книгу о Сталине «Перед судом истории» он писал, опираясь в большой мере на уникальный материал — собранные им воспоминания политических заключенных сталинских лагерей) и другие стали теми, кем они стали, несмотря на слабый уровень преподавания и атмосферу страха. Б.М. Фирсов уже был аспирантом Ядова. У каждого из названных и неназванных мною социологов был свой путь развития. Насколько я могу судить, никто из них в студенческие годы собственно социологией не занимался.

Однако они прошли серьезную *философскую* школу — школу, в которой они учились сами, без учителей. Ленинградским будущим социологам, в отличие от московских (там еще работали такие профессора, как В.Ф. Асмус, был вне университета, но жил А.Ф. Лосев), учиться было не у кого и самой философии, хотя те, кто был на курс старше нас, застали такого прекрасного знатока философии Нового времени, как Евгения Львовна Зельманова. А учившиеся после нас могли слушать лекции В.П. Тугаринова, В.А. Штоффа, И.С. Кона, Л.О. Резникова. Не забудем, что на психологическом отделении факультета еще работали такие крупные ученые, как Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, Л.М. Веккер. Володя Ядов потом вспоминал, как много ему дало общение с Борисом Герасимовичем Ананьевым. Надо сказать, что целый ряд «непрофильных» предметов нам преподавали блестящие ученые. Среди них читавший историю Древней Греции и Рима Дмитрий Павлович Каллистов, лектор по истории Средних веков Матвей Александрович Гуковский, брат знаменитого литературоведа Григория Александровича, не забываемы были лекции по русской литературе Георгия Пантелеймоновича Макогоненко, по физике — Григория Самуиловича Кватера.

Мне навсегда запомнился методологический урок, который нам преподавал в первый месяц обучения на первом курсе Д.П. Каллистов. На занятиях по педагогике нам настоятельно советовали перед лекцией прочитать материал в учебнике. Мы, еще старательные первокурсники, пытались следовать этому совету. И вот Д.П. Каллистов читает нам очередную лекцию по истории Древней Греции; Володя Ядов задает вопрос лектору:

— Вы говорили, что афиняне послали против спартанцев столько-то кораблей (я не помню конкретную цифру), а вот в учебнике Ковалева написано, что они послали другое количество кораблей.

Дмитрий Павлович спрашивает Володю:

— Вы это прочли у Фукидида или Геродота?

— Нет, — отвечает Володя. — Я это прочел в учебнике Ковалева.

— Ах, Ковалева! — сказал Дмитрий Павлович. — Тогда во время перерыва спуститесь на этаж ниже (там была кафедра античной истории) и спросите Сергея Ивановича Ковалёва, почему он так написал.

И мы поняли, что значит учиться в университете, когда тут же работают авторы учебников, и как надо учиться по источникам.

Мы, «философы», компенсировали отсутствие собственно педагогов-философов упорным самостоятельным трудом над первоисточниками, будь то Маркс, Аристотель или Гегель. Эти занятия (могу судить по себе) были отдушиной в атмосфере жуткого времени, в

котором мы жили. Да, кое-кто был «хунвейбином». Некоторые ими и остались, чем и объясняется острая идейная борьба на факультете в «оттепельные» времена, в результате которой и Кон, и Ядов должны были уйти с факультета. Но и некоторые «хунвейбины» прозрели от тех ударов, которые им нанесла с энтузиазмом защищаемая ими система. Социальный опыт, как положительный, так и отрицательный, полученный нами в период пребывания в чреве Левиафана, многому научил тех, кто решил исследовать это чрево.

Я думаю, что серьезная самоподготовка и богатый социальный опыт, в том числе полученный в столкновениях с апологетами советской системы, были причиной того, что, несмотря на слабый уровень преподавания и атмосферу страха, философский факультет смог в течение короткого промежутка времени подготовить значительное число ученых, много сделавших для развития социальной философии, социологии и смежных наук.

Леонид, не могли бы Вы припомнить, преподавали ли Вам то, что сегодня, пусть условно, можно было бы назвать социологией?

На Ваш вопрос я могу ответить однозначно: нет. Социология рассматривалась только в историко-философском плане как порождение позитивизма, как изначально буржуазная отрасль философии. Правда, при изучении истории философии уделялось внимание социально-политическим взглядам того или другого философа. Но аксиоматически утверждалось, что только марксистские социально-политические воззрения обладают качеством научности. Мера близости к ним — свидетельство прогрессивности. Материалистическое понимание истории — высшее и окончательное достижение мировой социальной мысли. Всё остальное — антинаучный утопизм и вздор. Буржуазная социология обслуживает интересы империалистической буржуазии в ее борьбе с первым в мире социалистическим государством. Вот и вся «социология», которую в нас внедряли в конце 1940-х — начале 1950-х годов.

Как известно, впоследствии, не без сопротивления идеологического начальства, происходило расширение границ марксистско-ленинской философии. В конце 1940-х обнаружилось, что в марксизме есть эстетика, но это не какая-нибудь, а марксистско-ленинская эстетика. В 1960 г. вышла книга Василия Петровича Тугаринова (1898–1978), который стал деканом философского факультета, когда мы оканчивали университет, «О ценностях жизни и культуры». Автор с простодушной мудростью мальчика из сказки Андерсена «Голый король» заявил: «А ценности-то существуют!» И только состоявшийся в 1965 г. в Тбилиси симпозиум по проблеме ценностей в марксистско-ленинской философии в ходе свободной дискуссии утвердил статус теории ценностей в самой марксистской философии, очищенной

от вульгаризаторских и догматических наслоений. Аналогичная история произошла с культурологией, философской антропологией и с самой социологией. Оказывается, в марксизме-ленинизме, как в Греции (по Чехову), «всё есть». Исторический материализм и был переключен в марксистскую теоретическую социологию.

Но когда мы учились, до этого еще было очень далеко. Нам и сам исторический материализм читался в виде курса «Диалектический и исторический материализм в свете гениальных трудов товарища Сталина по вопросам языкознания». А декан Михайлин произнес фразу, которую я записал слово в слово: «Товарищ Сталин на языке развил диалектический и исторический материализм».

Зарубежная литература по социологии, если и пересекала государственную границу СССР, надежно упрятывалась в спецхраны библиотек, и читать ее разрешалось только для критики. А спокойней вообще не читать. Но в книжных антиквариатах можно было приобрести книги с, казалось бы, допотопным названием: «Социология». Я купил еще тогда двухтомник Питирима Сорокина, известного по критике его Лениным, «Система социологии», да еще с надпечаткой «авторский экземпляр».

Теперь, пожалуйста, немного хронологии Вашей жизни: когда родились, когда защитили кандидатскую и докторскую диссертации? Чему были посвящены эти работы?

Родился я 22 июля 1929 г. в Ленинграде. Общая канва моей жизни такова. До войны окончил 4 класса начальной школы. Был в блокадном городе до конца марта 1942 г., затем стал воспитанником военно-полевого госпиталя на Волховском фронте. С осени 1942 г. до осени 1944 г. жил с семьей в Казани. В 1944 г. возвратился в Ленинград, где в 1947 г. окончил 252-ю среднюю школу с золотой медалью. С 1947 по 1952 г. учился на философском факультете Ленинградского государственного университета. С начала 1953 г. переехал в г. Тарту (Эстония), работал в Тартуском университете преподавателем эстетики, с 1956 г. — преподавателем кафедры философии, с 1967 г. — профессором этой кафедры. В 1976–1977 гг. я работал профессором эстетики университета им. Коменского в Братиславе (Словакия). В 1994 г. получил статус почетного профессора (Professor Emeritus) Тартуского университета.

Как я уже говорил, на философский факультет Ленинградского университета я поступил в 1947 г. не для того, чтобы в будущем заниматься философией, а чтобы стать поэтом. Но этим надеждам не суждено было осуществиться. Под влиянием всей духовной атмосферы, царившей на факультете и в стране, стихи писать я перестал, но интерес к поэзии и высокому искусству не потерял. В течение летних каникул я зал за залом изучал Эрмитаж. Компромиссом между

философией и искусством стала для меня эстетика, которой я начал заниматься с 1-го курса. Первой моей курсовой работой было сочинение «Эстетические взгляды Аристотеля», за которое я в стенной газете факультета был причислен к числу космополитов.

Курс марксистско-ленинской эстетики бездарно читал студентам-философам выпускник Академии общественных наук при ЦК ВКП(б), заведующий отделом литературы и искусства Ленинградского обкома партии П.Л. Иванов, проводивший основательную «чистку» деятелей литературы и искусства. Дефицит информации в области эстетики я стремился компенсировать, посещая лекции по эстетике и истории эстетических учений, которые читал на отделении истории искусства исторического факультета молодой элегантный доцент Моисей Самойлович Каган. Участвовал я и в работе его семинара по эстетике. Моисей Самойлович не был формально моим преподавателем. В моем матрикule не было его подписей. В эти годы вход на философский факультет в качестве преподавателя ему был заказан, возможно, к счастью для него. Но именно ему я бесконечно обязан своим первоначальным теоретико-эстетическим развитием. Не только его блестящим лекциям, но прежде всего вниманию и терпению, с которым он относился к размышлениям и спорам с ним самонадеянного второкурсника.

На 4-м курсе, году в 1950-м, уйдя с головой в эстетику, я пришел к мыслям о природе искусства и красоты, которые впоследствии составили так называемую «общественную концепцию» эстетического отношения. Университет я окончил с отличием в 1952 г. Новый декан философского факультета Василий Петрович Тугаринов дал мне даже справку о том, что я могу преподавать не только диалектический и исторический материализм и историю философии, как было записано в моем дипломе, но и эстетику. К сожалению, это мне тогда не помогло: в течение полугода меня не допускали к преподаванию по специальности ни в моем родном Ленинграде, ни в тех городах, куда я посылал запросы с предложением читать лекции.

Единственно, что мне было предложено с начала 1953 г., — это чтение курса лекций по эстетике на отделении искусствоведения Тартуского университета.

Работая на почасовой в Тарту, я в 1955 г. защитил в Ленинградском университете кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы эстетической природы искусства». Это была неожиданная для того времени постановка вопроса о сущности искусства, которое в рамках господствующих взглядов рассматривалось прежде всего как способ познания мира, отличающийся от науки только конкретно-чувственной формой, а также как средство идейного воспитания. Аналогичная по постановке вопроса книга А.И. Бурова «Эстетическая сущность искусства» вышла в 1956 г. В этом же году журнал

«Вопросы философии» опубликовал мою статью, написанную на основе диссертации, «Об эстетических свойствах действительности». Эта статья, сама диссертация и книга «Эстетическое в действительности и в искусстве» (1959) послужили детонатором, пожалуй, самой крупной дискуссии в истории советской эстетики — о сущности эстетического. Дискуссия стимулировала дальнейшую разработку выдвинутой мною социокультурной концепции эстетического, а затем и самой ценности. Эта разработка легла в основу моей докторской диссертации «Проблема прекрасного и общественный идеал», защищенной в 1965 г. в моей alma mater — Ленинградском университете. По материалам этой диссертации в Москве были изданы две мои книги.

Какие дороги привели Вас в Тарту и что привязало Вас к нему на всю жизнь? Это сейчас — чудесный университетский городок, столетия назад он не выглядел так...

Я уже говорил, что Тартуский университет был единственным учебным заведением в стране, которое ответило положительно на более чем сотню моих запросов-предложений преподавать философию и эстетику. Правда, и в Тарту меня к философии не подпускали еще 3 года. Почему мне отказывали? В родном Ленинграде, где было порядка 40 вузов, я неоднократно вел такие диалоги:

- Вам нужен преподаватель по общественным наукам?
- Да нужен. Как Ваша фамилия, имя, отчество?
- Столович Леонид Наумович.
- Нет, не нужен.

Случилось так, что в Тартуском университете на отделении истории искусства совершенно некому было читать обязательный курс эстетики и был ректор Ф.Д. Клемент, для которого квалификация преподавателя была важнее, чем ответ на вопрос в 5-м пункте анкеты, даже несмотря на «дело врачей», о котором газеты известили как раз во время моего переезда в этот эстонский город. Правда, для горкома партии это «дело» было более значимо для преподавания философии, чем мое философское образование. «Дело» через месяц после смерти Сталина закрыли, но на мою беду, существовало еврейское государство. Даже то, что я стал одним из очень немногих в республике кандидатов философских наук, не давало мне возможности работать штатным преподавателем. Только после XX съезда партии и моих публикаций в центральной печати меня взяли на кафедру философии.

Как говорится, нет худа без добра. Великим для меня добром стало включение моей жизни в жизнь старинного университетского городка. Помимо того, что здесь я обрел семью, я попал в необычайно интеллектуальную и дружественную мне среду. Здесь жили и работали попавшие сюда, в определенной мере, как и я, питерцы: всемирно известный литературовед и культуролог Ю.М. Лотман, его

жена, литературовед З.Г. Минц, окончивший философский факультет ЛГУ Р.Н. Блюм, экономист, ставший эстонским академиком, М.Л. Бронштейн, работавший в таллинском Художественном институте прекрасный искусствовед Б.М. Бернштейн, знакомый мне еще по эстетическому семинару М.С. Кагана. Я подружился с начинавшим в Тарту замечательным литературоведом Б.Ф. Егоровым, видным физиком Ч.Б. Лушиком, знаменитым химиком и общественным деятелем В.А. Пальмом. Этническое происхождение для нас не имело никакого значения. Добрые отношения возникли и с эстонской интеллигенцией, для которой мы стали близкими по духу людьми. В определенной мере мы были связующим звеном между эстонскими интеллектуалами, в том числе и начинающими социологами, такими как Юло Вооглайд, Марью Лауристин и многие другие, и российскими исследователями, в том числе и в сфере философии и социологии. В Эстонии 1960–1970-х гг., ставшей своеобразной советской заграницей, была особая духовная атмосфера. В историю науки вошли встречи в Кяэрику, на спортивной базе университета, филологов-семиотиков, социологов, философов, экономистов, математиков. В Тарту прошла большая часть моей жизни, и мне всегда радостно сюда возвращаться после каких-либо поездок.

Да, полстолетия назад Тарту выглядел хуже, чем сейчас. 60% города было уничтожено войной. Коренное население еще остро переживало недавние сталинские депортации, ощущались последствия идеологических кампаний и чисток как всесоюзного, так и местного значения. Но постепенно вызревало то, что получило название «вольнoлюбивый тартуский дух», по-эстонски «Tartu vaim». Сейчас Тарту — комфортабельный, но сохраняющий свои исторические ценности город Евросоюза. В нем уютно жить, но для меня что-то безвозвратно ушло, наверно, с молодостью.

Примерно когда и в силу каких обстоятельств Вы окунулись в социологию?

В Кяэрику в 1966–1969 гг. собирались социологи, изучавшие разные аспекты теории и практики массовых коммуникаций в период становления советской невульгарной социологии. Затем последовал этап ее удушения, к счастью, не доведенный до конца. Я был подключен к социологическим исследованиям в университете и конференциям в Кяэрику, не только потому, что меня интересовала обсуждаемая там проблематика, но и как научный руководитель социологических исследований в Тартуском университете. На столь престижную должность я попал и благодаря некоторым формальным обстоятельствам. В ноябре 1965 г. я защитил докторскую диссертацию, став первым и на какое-то время единственным доктором философских наук в Эстонии. Как такового меня и назначили на эту «генеральскую

должность». Правда, я тоже принимал в это время участие в работе социологической лаборатории, основанной Юло Вооглайдом. Выступал с докладами по эстетике и теории ценностей, методологические положения которых использовались в конкретно-социологических исследованиях массовых коммуникаций. Сам я проводил социологические исследования эстетических и художественных вкусов школьников (если я не ошибаюсь, первые в СССР). В эстонском журнале Союза писателей «Looming» [«Творчество»] (1963) вышла моя статья на эстонском языке «О вкусе, его изучении и воспитании», вызвавшая оживленную дискуссию в журнале. Материалы этих исследований публиковались и на русском языке в ряде номеров газеты «Молодежь Эстонии». Проводил я и опросы студентов в связи с восприятием некоторых спектаклей театра «Ванемуйне». Результаты этих опросов использовались в моих статьях по эстетике и эстетическому воспитанию.

Занимался я и собственно теоретическими проблемами эстетического воспитания, разработав концепцию его социальных функций [2], и в докладах на международных конгрессах по воспитанию (Варшава, 1969) и эстетике (Упсала, 1969), на которые я не был допущен, но участвовал заочно.

Я руководил аспирантами, работавшими над диссертациями по социологии журналистики и искусства. Моей аспиранткой была Мэриу Лауристин, написавшая отличную диссертацию о контент-анализе. Под моим руководством В.-И. Лайдмяэ проводила конкретно-социологическое исследование восприятия изобразительного искусства, опираясь на мою концепцию аспектов и функций искусства.

Вместе с тем проблемой «эстетика — социология» я начал заниматься с самого начала своей теоретической деятельности. Я не мог не знать, что марксистская эстетика 1920-х годов выступала, прежде всего, как *социология искусства*. Притом тогда и после существовала социология искусства вне марксистской методологии. Однако социологический подход в марксистской эстетике 1920-х гг. был скомпрометирован вульгарной социологией. Теоретическую несостоятельность вульгарной социологии искусства убедительно показали в 1930-е гг. Мих. Лифшиц, Г. Лукач и их последователи, но они, как представляется, сделали крен в другую сторону, в гносеологизм, несколько абсолютизируя познавательную функцию искусства и провозглашая реализм непререкаемой нормой искусства. Но со второй половины 1940–1960-х гг. вульгарный социологизм в виде вездесущего принципа партийности стал определяющим началом официальной художественной критики и политики партии в области искусства. Против вульгарной социологии в послевоенном ее варианте я выступал, где только мог, в частности, на ленинградском симпозиуме по социологии искусства в ноябре 1966 г.

Надо сказать, что не только я окунулся в социологию, но и социология окунулась в меня. Ведь в широкой дискуссии в СССР и за рубежом с середины 1950-х годов я выступал с концепцией, которая не случайно называлась «общественная», или «социальная» (впоследствии я назвал ее «социокультурной концепцией ценности»). Эта концепция переводила социальную сторону искусства и эстетического, а затем и ценности вообще из субъективной сферы партийности в объективную общественно-историческую практику, на основе которой образуются ценности, в частности, эстетические. Социологизмом пронизана моя докторская диссертация «Проблема прекрасного и общественный идеал» (1965), как и книга «Категория прекрасного и общественный идеал. Историко-проблемные очерки» [1]. Для меня стало очевидно, что эпитет «вульгарная» по отношению к социологии не является постоянным. И я с радостью приветствовал первые исследования искусства в социологическом ключе, ничего общего не имевшие с вульгарной социологией [3].

Сказанное выше, надеюсь, объясняет, почему я, не будучи профессиональным социологом, не чувствовал себя чужим в личном общении и на различных социологических встречах с теми, кто заложил фундамент советской и российской социологии — с Ю. Левадой и И. Коном, В. Ядовым и Б. Грушиным, Б. Фирсовым и Л. Коганом и многими и многими другими. С другой стороны, общение с социологами стимулировало мое изучение социологической теории и истории и использование этих знаний в дальнейшей моей теоретической деятельности. Во второй половине 1960-х годов я изучал творчество немецкого художника-антифашиста Курта Магритца и в связи с этим исследовал социологическую проблему «искусство и фашизм» [4]. Изучал я и социальные функции искусства. В дальнейшем, занимаясь историей аксиологии, я рассматривал аксиологический подход в социологии и социологический в аксиологии и эстетике, а также проблему ценности в марксизме [5]. В философско-социологическом плане исследовались мною воззрения многих русских мыслителей [8].

В недавно вышедшей книге «Vivat, Ядов!» есть статьи М. Лауристин и П. Вихалемма, Ю. Вооглайда, однозначно свидетельствующие о том, что именно Ядов является основоположником эстонской социологии. Как Вы думаете, почему в довоенной Эстонии не существовало социологии? Ведь она могла быть туда «занесена» по крайней мере из России и Германии? А была ли социальная философия?

Юло Вооглайд — несомненный зачинатель эмпирической социологии в Эстонии в начале 60-х годов уже прошлого века — начал опросы читателей Тартуской газеты «Edasi» («Вперед») до знакомства с Ядовым. Но, по его словам, узнав о существовании в Ленинградском

университете лаборатории социологических исследований, созданной и возглавляемой Ядовым с конца 1950-х годов, он поехал в Ленинград, чтобы с ним познакомиться, и затем, поступив в аспирантуру на отделение психологии Тартуского университета (сам он окончил историческое отделение), попросил Ядова быть его научным руководителем. Так что освоение социологии, теоретической и эмпирической, Юло Вооглайдом совершилось под руководством Владимира Александровича. В этой связи Ядов стал бывать в Тарту, принимал активное участие в кяэрикусских встречах социологов, способствовал контактам и дружеским отношениям становящейся эстонской социологии с самыми значительными социологами Питера и Москвы (А. Здравомысловым, Б. Грушиным, Ю. Левадой, Г. Андреевой, Б. Фирсовым и др.). Именно в Тарту В. Ядов, благодаря Вооглайду, смог опубликовать свою первую методологическую книгу по социологическому исследованию. Через Ядова, в определенной мере и через меня, к зарождению эстонской социологии был привлечен и И.С. Кон, который стал руководителем диссертации о проблеме личности Николая Горбунова, сотрудника социологической лаборатории Вооглайда, затравленного за причастность к этой лаборатории. Потом Ядов помогал исследованиям и других эстонских социологов. В этом отношении он действительно существенно содействовал возникновению и развитию эстонской социологии. Только в этом смысле он может быть назван «основоположником эстонской социологии». Его заслуги чтут и по сей день. Не случайно он один из очень немногих российских ученых был удостоен в 1990 г. звания почетного доктора философии (*filosoofia audoktor*) Тартуского университета.

Нельзя сказать, что социология в довоенной Эстонии вообще не существовала. Занимаясь в начале 1960-х гг. анкетными опросами эстонских школьников и студентов на предмет изучения их художественных предпочтений, я обнаружил любопытную книгу: «Идеалы эстонской школьной молодежи: анкетные данные 1922 г.», изданную в Таллине в 1934 г. Автором ее был Август Кукс (*August Kuks*, 1882–1965). Судя по его работам, хранящимся в научной библиотеке Тартуского университета, он был педагогом, занимался проблемами этики, но в советское время «не высывался», видимо, имея какие-то политические проблемы. Я его лично не знал, но навел меня на его книгу видный эстонский педагог Александр Эланго. Кукс опросил в августе 1922 г. 53 000 школьников, стремясь определить их идеалы. Эмпирическое исследование детского интеллекта в Эстонии провел Юхан Торк (*Juhan Torik*, 1889–1980), опубликовав его в 1939 г. в докторской диссертации по философии «Эстонский детский интеллект», защищенной в Тартуском университете, и в книге, изданной в Тарту в 1940 г. «Интеллект эстонских детей: педагогическое, психологическое и социологическое исследование».

Вообще в Эстонии была развита культура эмпирических исследований в области психологии. Один из основателей эстонской психологии Константин Рамуль (Konstantin Ramul, 1879–1975) основал в 1922 г. при Тартуском университете экспериментально-психологическую лабораторию. Мне довелось быть в добрых отношениях с «отцом эстонской психологии», как его называли. Наверно, неслучайно Вооглайду дали место в аспирантуре именно при кафедре психологии, а не философии, считая его социологические опросы социально-психологическими исследованиями.

В довоенной Эстонии в период ее самостоятельного государственного существования был интерес и к теоретической социологии. Интеллигенция, владевшая немецким языком, была осведомлена о философских и социологических исканиях в Германии. Социология религии Макса Вебера повлияла на исследования теолога Эдуарда Теннманна (Eduard Tennmann, 1878–1936), объемная работа которого «Религия и экономика» была опубликована в 1938 г. Ильмар Ханс Тыннисон (Ilmar Hans Tõnisson, 1911–1939) — сын видного эстонского общественного и государственного деятеля, политика и правоведа Яна Тыннисона, учившийся в Тартуском университете и в Лондонской School of Economics, наряду с политикой занимался проблемами теоретической социологии, анализом различных процессов и явлений. Он автор изданий, опубликованных в 1930-е годы «Методы исследований дифференциальной национальной психологии», «Существование народа и национальная идея». Социально-политическая проблематика рассматривалась в трудах эстонского историка и общественного деятеля Ханса Крууса (Hans Kruus, 1891–1978).

Единственным профессиональным философом в первой Эстонской республике был Альфред Коорт (Alfred Koort, 1901–1956). Он в 1925–1928 гг. учился в Геттингене под руководством одного из последователей Дильтея, преподавал в Тартуском университете философию, логику, психологию и педагогику, автор нескольких книг и брошюр, изданных в 1930-х гг., на эстонском языке: «Введение в философию», «Современная философия», «Язык и логика», «Об историческом сознании», «Философия и христианство». В его лекциях и публикациях рассматривались социальные проблемы. В 1944–1951 гг. А. Коорт был ректором университета. Когда я приехал в Тарту, он работал на кафедре психологии и логики. Знаком я с ним не был, но в 1956 г. присутствовал на его похоронах.

Таким образом, утверждать, что в довоенной Эстонии совсем не было социологии и социальной философии, было бы неверно. Однако, не вызывает сомнения, что возникшая в 1960-х гг. эстонская социология никоим образом не опиралась на то немногое, что было в Эстонии в прошлом. Более того, в период появления эстонской социологии ее начинатели мало что знали о своих предшественниках.

Только в настоящее время они вызывают у современных эстонских социологов исторический интерес.

Рискну, Леонид, задать Вам вопрос, о котором я сам давно задумываюсь, но пока не решаюсь ответить на него однозначно. Мне кажется, что ленинградскую социологию можно назвать советской по содержанию и петербургской по духу. Конечно, никакого влияния на становление социологии в Ленинграде не оказали П.Сорокин и другие социологи дореволюционного Петербурга и постреволюционного Петрограда, но в довоенные, военные и в первые послевоенные годы в Ленинграде еще жило большое число петербуржцев, в школах преподавали учителя «старой культуры», сохранялось многое от Петербурга, какие-то дореволюционные традиции в общении. Что Вы думаете по этому поводу?

В этой связи возникает и такой «промежуточный» вопрос: что такое, по Вашему мнению, советская социология? Можно ли рассматривать всю социологию, существовавшую в СССР, в качестве советской?

Когда мы говорим «советское искусство», «советская философия», «советская социология» и т. п., надо иметь в виду, что слово «советское» в данном случае, так сказать, исторический «мешок», означающий, что искусство, философия, социология и т. п., о которых идет речь, существовали во время советской власти и не более. Но эти виды сознания *по своему содержанию* могли быть как советскими, так и антисоветскими, социалистическими или антисоциалистическими. Притом надо иметь в виду, что «советское» не тождественно «социалистическому». Само понятие «социалистическое» можно понимать двояко: во-первых, как то, что официально именовалось «социалистическим» (например, «социалистический реализм»). Во-вторых, то, что соответствует гуманистическим идеалам социализма, от которых подчас была далека советская жизнь. Таким образом, строго говоря, не всё «советское» было «социалистическим». Не думаю, что всю ленинградскую, как и всю советскую, социологию можно назвать «советской по содержанию», иначе бы она не вызывала стремления партийно-советской номенклатуры ликвидировать труды некоторых выдающихся социологов типа Левады. Не всё, что делалось в стране Советов, было советским по содержанию.

Итак, договоримся, что советской социологией будем называть социологию, возникшую при советской власти, вне зависимости от того, каковой она была по своему социальному содержанию. В этом плане, как я думаю, она делилась на две части: на ту область социального знания, которая стремилась своими методами и методиками дать реально-правдивую картину общественной жизни, и ту, которая подгоняла социологические данные под интересы и потребности

власть имущих по принципу: «Чего изволите?» А вот уже советская социология в широком смысле слова могла быть питерской или московской, уральской или эстонской.

Так что же такое «питерская социология»?

Что касается собственно «петербургского духа», то он пронизывал (но, разумеется, не исчерпывал) как форму, так и содержание будь то искусства, философии или социологии, рожденных «на берегах Невы». Поэтому, пытаясь ответить на Ваш вопрос, я могу говорить о «петербургском духе» социологии, или о присутствии в ней, говоря словами Н.П. Анциферова, «души Петербурга».

Но как определить сам «петербургский дух» в социологии или в чем-либо другом? Иногда не подводит интуиция. Вспоминаю, как одно из заседаний социологов в Кяэрику попросили вести Юрия Михайловича Лотмана, который поразил участников социологических обсуждений своей необычайной деликатностью (все говорили: «Вот это — настоящий петербургский профессор!»). Юрий Михайлович действительно был настоящим петербуржцем, как и его коллеги по Тартускому университету. Все они, коренные петербуржцы-ленинградцы, были занесены холодным ветром с невских берегов в Эстонию и здесь невольно образовали петербургско-ленинградское интеллектуальное сообщество, оказавшееся для эстонской интеллигенции не инородным телом и содействующее развитию эстонской культуры и экономики. Думаю, что существование этого интеллектуального питерского сообщества сыграло свою роль и при возникновении эстонской социологии. Юло Вооглайд и другие начинающие эстонские социологи были в дружеском контакте с этим сообществом и поэтому отнеслись с полным доверием к тому, что исходило из Ленинграда, в особенности к социологической лаборатории, возглавляемой В. Ядовым, которого хорошо знали.

Что же такое «петербургский дух»? Это, на мой взгляд, ценность города, обусловленная всей его историей, его культурой, его архитектурными ансамблями и памятниками, его художественно-литературными образами (Петербург Пушкина, Достоевского, Андрея Белого, Александра Блока и т. п.). А может ли быть присущ «петербургский дух» социологии? Как известно, всё познается в сравнении. Может быть, «петербургский дух» раскрывает себя в сопоставлении с «московским духом»? По отношению к философии я сам предпринял попытку такого сопоставления [6].

Своеобразие петербургской философии, в отличие от московской, определялось оппозицией особенностей этих городов. Думаю, что аналогичным образом дело обстоит и в отношении социологии. Было бы упрощением утверждать непосредственную детерминацию философской или социологической мысли местопребыванием

философов или социологов. Однако противостояние двух российских столиц, различие их исторических судеб и духовно-культурной жизни находило в определенные периоды выражение в развитии русской философии, в диалоге ее мыслителей. Это было обусловлено такими полярными особенностями Москвы и Петербурга, как оппозиции истинно-русского и западноевропейского («окно в Европу»), центрального и периферийного, континентального и морского местоположения, столетиями естественно становящегося города и города, в основании которого лежал определенный план. Очень большое значение имел исторически изменявшийся статус городов при перемещении центра официальных структур и соперничестве новой и опальной столицы. Следует иметь в виду, что символическим представительством Москвы и Петербурга становились и те культурные ценности, которые создавались в каждом из этих городов и которые уже сами олицетворяли их различия и противоположность. Это различия в архитектурных стилях, скульптурных памятниках, литературно-художественных образах, изображениях в живописи и графике, в легендарно-мифологическом ореоле. В философии, как и в социологии, произведения, созданные в том или другом городе, сами становились «визитными карточками» этих городов.

При этом одни факторы противостояния этих городов (географические и исторические) носили постоянный характер, другие же (функции столицы государства) — попеременно принадлежали то одному, то другому городу. Город, лишенный столичного значения, сохранял его в своих «генах» и вольно или невольно проявлял свой «комплекс неполноценности», соперничая со своим антиподом. Московский или же петербургский фон накладывался на экономическую, политическую и культурно-духовную жизнь важнейших российских центров. В последнюю, кроме философии, входит также архитектура и монументальная городская скульптура, художественная литература, театр, музыка, балет, кинематография.

В области философии различие между петербургским и московским течениями особенно ярко проявлялось во время спора «западников» и «славянофилов», которые со времени их возникновения в конце 30-х годов XIX столетия сами себя называли «московским направлением», «московской партией».

Надо иметь в виду, что в течение советского периода и особенно после Отечественной войны происходил процесс вымывания как из Москвы, так и из Ленинграда потомственных, коренных жителей. Но философское и социологическое образование и возникающие философские и социологические центры в обоих городах способствовали появлению наперекор всему в период «оттепели» и в новой, и в старой столице творчески работающих философов и социологов. Однако

партийное руководство «идеологическим фронтом», расположившееся в Москве, стремилось давить и подавлять любые отступления ленинградских философов от партийной линии во всех ее изгибах так же, как и своих земляков. Правда, «колыбели революции» доставалось порой больше, поскольку целенаправленно проводилась сталинская политика удушения петербургско-ленинградской культуры во всех ее проявлениях, ленинградские ученые имели меньшие возможности для зарубежных контактов со своими коллегами и нередко вынуждены были покидать родной город. Вместе с тем происходила интеграция творческих усилий ученых и философов обоих культурных центров страны в противостоянии официозным установкам, что и имело место в становлении советской социологии.

Попробую от общих рассуждений перейти к более конкретному ответу на Ваш вопрос: оказало ли влияние на становление социологии в Ленинграде то, что в довоенные, военные и первые послевоенные годы в городе еще жило большое число петербуржцев, в школах преподавали учителя «старой культуры», в общении сохранялись какие-то дореволюционные традиции? Иначе говоря, сохранился ли в ленинградской социологии петербургский дух?

Конечно, это не определяется только предметом исследования. Разумеется, ленинградские социологи исследовали главным образом социальные объекты, связанные с родным городом. Духовный ореол, или аура, если так можно сказать, исходящий от этих объектов, уже накладывал какой-то отпечаток на эти исследования, в особенности если исследовались ценностные ориентации жителей города с его неискоренными еще традициями. Однако, по-моему, всё дело в том, о каких конкретно социологах идет речь. Что касается, например, Кона, Ядова, Здравомыслова, Фирсова, то у меня нет никакого сомнения в их укорененности в ленинградско-петербургской культуре. И дело не просто в том, что они коренные ленинградцы, а в том, что они обладали такими качествами, как открытость по отношению к зарубежному исследовательскому опыту, отсутствие опасения того, что это может выглядеть антипатриотично; в своей научной деятельности они проявляли максимально возможную самостоятельность и независимость от вышестоящих указаний. Поэтому, в основном, ленинградская социология не угождала начальству, противостояла сервильной социологии, поэтому тот же Ядов и Кон не могли продолжать работать в Ленинградском университете и даже вынуждены были переехать в Москву, где оказался больший простор для их творческой деятельности, ни в коей мере не утратив свою петербургско-ленинградскую природу. В качестве неперемного условия «гнездования» петербургского духа в личности человека, в частности, социолога, я бы назвал *интеллигентность*. Разумеется, интеллигентность — это не отличительная

особенность ленинградца-петербуржца. Она может быть присуща как москвичам, так и жителям всех других городов России. Но для петербуржцев это необходимое условие петербургского духа, «*conditio sine qua non*» — то, без чего нельзя. При этом петербургская интеллигентность включает «петербургский патриотизм» — любовь к ценностям родного города, духовную причастность к его истории. Лучшие петербургские традиции в социологии могли продолжаться и вне Петербурга, если их рассматривать как освоение того, что было обречено блистательной и многострадальной историей Петербурга-Ленинграда. В этом смысле не все проживавшие на Неве были носителями этих традиций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Столович Л.Н. Категория прекрасного и общественный идеал. Историко-проблемные очерки. М.: Искусство, 1969.
2. Столович Л.Н. Социальные функции эстетического воспитания // Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 225. Труды по философии. Т. XII. Тарту, 1969. С. 120–127.
3. Столович Л.Н. Эстетика и социология [Рецензия на кн.: Давыдов Ю.Н. Искусство как социологический феномен. М., 1968] // Вопросы литературы. 1970. № 1. С. 217–221.
4. Столович Л.Н. Искусство против фашизма. О графике Курта Магритца // Искусство. 1979. № 12. С. 49–53.
5. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. М.: Республика, 1994.
6. Столович Л.Н. Петербург–Москва: философский диалог // В диапазоне гуманитарного знания. К 80-летию профессора М.С. Кагана. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 120–130. (См. также URL: <http://anthropology.ru/ru/texts/stolovich/kagan_09.html>).
7. Столович Л. Стихи и жизнь. Опыт поэтической автобиографии. Таллин: ИНГРИ, 2003.
8. Столович Л.Н. История русской философии. Очерки. М.: Республика, 2005.